

ЦИНИКИ

Почему может быть признан виновным историк, верно следующий мельчайшим подробностям рассказа, находящегося в его распоряжении? Его ли вина, если действующие лица, соблазненные страстями, которых он не разделяет, к несчастью для него, совершают действия глубоко безнравственные.

Стендаль

Вы очень наблюдательны, Глафира Васильевна. Это все очень верно, но не сами ли вы говорили, что, чтобы угодить на общий вкус, надо себя «безобразить». Согласитесь, это очень большая жертва, для которой нужно своего рода геройство.

Лесков

1918

1

— Очень хорошо, что вы являетесь ко мне с цветами. Все мужчины, высуня язык, бегают по Сухаревке и закупают муку и пшено. Своим возлюбленным они тоже тащат муку и пшено. Под кроватями из карельской березы, как трупы, лежат мешки.

Она поставила астры в вазу. Ваза серебристая, высокая, формы — женской руки с обрубленной кистью.

Под окнами проехала тяжелая грузовая машина. Сосредоточенные солдаты перевозили каких-то людей, похожих на поломанную старую дачную мебель.

— Знаете, Ольга...

Я коснулся ее пальцев.

— ...после нашего «социалистического» переворота я пришел к выводу, что русский народ не окончательно лишен юмора.

Ольга подошла к округлому зеркалу в кружевах позолоченной рамы.

— А как вы думаете, Владимир...

Она взглянула в зеркало.

— ...может случиться, что в Москве нельзя будет достать французской краски для губ?

Она взяла со столика золотой герленовский карандашик:

— Как же тогда жить?

2

После четырехдневной забастовки собрание рабочих тульского оружейно-патронного завода постановило:

«...по первому призывному гудку выйти на работу, т.к. забастовка могла быть объявленной только в силу временного *помешательства* рабочих, страдающих от общей хозяйственной разрухи».

3

Чехословаки взяли Самару.

4

В Петербурге хоронили Володарского. За гробом под проливным дождем шло больше двухсот тысяч человек.

5

ВЧК сделала тщательный обыск в кофейной французского гражданина Лефенберга по Столешникову переулку, дом 8, и в кофейной сло-

вака Цумбурга тоже по Столешникову переулку, дом 6. Обнаружены пирожные и около 30 фунтов меда.

6

Вооруженный тряпкой времен Гомера, я стою на легонькой передвижной лесенке и в совершеннейшем упоении глотаю книжную пыль.

Внизу Ольга щиплет перчатку цвета крысиных лапок.

— Нет, Ольга, этого вы не можете от меня требовать!

Она продолжает отдирать с левой руки свою вторую кожу.

— Итак, вы хотите, чтобы я поделился с прислугой этим ни с чем не сравнимым наслаждением? Вы хотите, чтобы я позволил моей прислуге раз в неделю перетирать мои книги? Да?..

— Именно.

— Ни за что в жизни! Она и без того получает слишком большое жалованье.

— Марфуша!

От волнения я теряю равновесие. Мне приходится, чтобы не упасть, выпустить из рук тряпку времен Гомера и уцепиться за шкаф. Тряпка несколько мгновений парит в воздухе, потом плавно опускается на Ольгину шляпу из жемчужных перышек чайки.

О, ужас, античная реликвия черной чадрой закрывает ей лицо!

Ольга давится пылью, кашляет, чихает.

Со своего «неба» я бормочу какие-то извинения. Все погибло. С земли до меня доносится:

— Марфуша!

Входит девушка, вместительная и широкая, как медный таз, в котором мама варила варенье.

— Будьте добры, Марфуша, возьмите на себя стирание пыли с книг. У Владимира Васильевича на это уходит три часа времени, а у вас это займет не больше двадцати минут.

У меня сжимается сердце.

— Спускайтесь, Владимир. Мы пойдем гулять.

Спускаюсь.

— Ваша физиономия татуирована грязью.

Моя физиономия действительно «татуирована грязью».

— Вам необходимо вымыться. Работает ли в вашем доме водопровод? Иначе я понапрасну отсчитала шестьдесят четыре ступеньки.

— Час тому назад водопровод действовал. Но ведь вы знаете, Ольга, что в революции самое приятное — ее неожиданности.

7

Мы идем по Страстному бульвару. Клены вроде старинных модниц в больших соломенных шляпах с пунцовыми, оранжевыми и желтыми лентами.

Ольга берет меня под руку.

— Мои *предки* соизволили бежать за границу. Вчера от дражайшего папаши получили письмецо

с предписанием «сторожить квартиру». Для этого он рекомендует мне выйти замуж за большевика. А там, говорит, видно будет.

По небу раскинуты подушечки в белоснежных наволочках. Из некоторых высыпался пух.

У Ольги лицо ровное и белое, как игральная карта высшего сорта из новой колоды. А рот — туз червей.

— Хочу мороженого.

Я отвечаю, что Московский Совет издал декрет о полном воспрещении «продажи и производства»: ...яства, к которому вы неравнодушны.

Ольга разводит плечи:

— Странная какая-то революция.

И говорит с грустью:

— Я думала, они первым долгом поставят гильотину на Лобном месте.

С тонких круглоголовых лип падают желтые волосы.

— А наш конвент, или как он там называется, вместо этого запрещает продавать мороженое.

Через город перекинулась радуга. Веселенькими разноцветными подтяжками. Ветер насвистывает знакомую мелодию из венской оперетки. О какой-то чепухе болтают воробьи.

8

В Казани раскрыли контрреволюционный офицерский заговор. Начались обыски и аресты. Замешанные офицеры бежали в Райвскую пустынь.

Казанская ЦК направила туда следственную комиссию под охраной четырех красногвардейцев. А монахи взяли да и сожгли на кострах всю комиссию вместе с охраной.

Причем жгли, говорят, по древним русским обычаям: сначала перевязывали поперек бечевкой и бросали в реку, когда поверхность воды переставала пузыриться, тащили наружу и принимались «сушить на кострах».

История в Ольгином духе.

9

— Я пришел к тебе, Ольга, проститься.

— Проститься? Гога, не пугай меня.

И Ольга трагически ломает бровь над смеющимся глазом.

— Куда же ты отбываешь?

— На Дон.

— В армию генерала Алексеева.

Ольга смотрит на своего брата почти с благоговением:

— Гога, да ты...

И вдруг — ни село, ни пало — задирает кверху ноги и начинает хохотать ими, как собака хвостом.

Гога — милый и красивый мальчик. Ему девятнадцать лет. У него всегда обиженные розовые губы, голова в золоте топленых сливок от степных коров и большие зеленые несчастливые глаза.

— Пойми, Ольга, я люблю свою родину.

Ольга перестает дрыгать ногами, поворачивает к нему лицо и говорит серьезно:

— Это все оттого, Гога, что ты не кончил гимназию.

Гогины обиженные губы обижаются еще больше.

— Только подлецы, Ольга, во время войны могли решать задачки по алгебре. Прощай.

— Прощай, цыпленок

Он протягивает мне руку с нежными женскими пальцами. Даже не пальцами, а пальчиками. Я крепко сжимаю их:

— До свидания, Гога.

Он качает головой, расплескивая золото теплых сливок:

— Нет, прощайте.

И выпячивает розовые, как у девочки, обиженные губы. Мы целуемся.

— До свидания, мой милый друг.

— Для чего вы меня огорчаете, Владимир Васильевич? Я был бы так счастлив умереть за Россию.

Бедный ангел! Его непременно подстрелят, как куропатку.

— Прощайте, Гога.

10

На Кузнецком Мосту обдирают вывески с магазинов. Обнажаются грязные, прыщавые, покрытые лишаями стены.

С крыш прозрачными потоками стекает желтое солнце. Мне кажется, что я слышу его журчание в водосточных трубах.

— При Петре Великом, Ольга, тут была Кузнецкая слобода. Коптили небо. Как суп, варили железо. Дубасили молотами по наковальням. Интересно знать, что собираются сделать большевики из Кузнецкого Моста?

Рабочий в шапчонке, похожей на плевок, весело осклабился:

— А вот, граждане, к примеру сказать, в Альшванговом магазине буржуйских роскошей будем махру выдавать по карточкам.

И, глянув прищуренными глазами на Ольгины губы, добавил:

— Трудящемуся населению.

Предвечернее солнце растекается по панелям. Там, где тротуар образовал ямки и выбоины, стоят большие, колеблемые ветром солнечные лужи.

— Подождите меня, Владимир.

— Слушаюсь.

— В тридцать седьмой квартире живет знакомый ювелир. Надо забросить ему камушек. А то совсем осталась без гроша.

— У меня та же история. Завтра отправляюсь к букинистам сплавлять «прижизненного Пушкина».

Ольга легкими шагами взбегает по ступенькам.
Я жду.

Старенький действительный статский советник, «одетый в пенсне», торгует в подъезде харьковскими ирисками.

Мне делается грустно. Я думаю об улочке, на которой еще теснятся книжные лавчонки.

Когда-то ее назвали Моховой. Она тянулась по тихому безлюдному берегу болотистой речки Неглинной. Не встречая помехи, на мягкой илистой земле бессуразно пышно рос мох.

Вышла Ольга.

— Теперь можем кутить.

Она покупает у действительного статского советника ириски.

Рыжее солнце вихрястой веселой собачонкой путается в ногах.

11

Мой старший брат Сергей — большевик. Он живет в «Метрополе»; управляет водным транспортом (будучи археологом); ездит в шестиместном автомобиле на вздувшихся, точно от водянки, шинах и обедает двумя картофелинами, поджаренными на воображении повара.

У Сергея веселые синие глаза и по-ребячьи оттопыренные уши. Того гляди, он по-птичьи взмахнет ими, и голова с синими глазами полетит.

Во всю правую щеку у него розовое пятно. С раннего детства Сергея почти ежегодно клали на операционный стол, чтобы, облюбовав на теле

место, которого еще не касался хирургический нож, выкроить кровавый кусок кожи.

Вырезанную здоровую ткань накладывали заплатой на больную щеку. Всякий раз *волчанка* съедала заплату.

— Я пришел к тебе по делу. Напиши, пожалуйста, записку, чтобы мне выдали охранную грамоту на библиотеку.

— Для чего тебе библиотека?

— Чтобы стирать с нее пыль.

— Ходи в Румянцевку и стирай там.

— Ладно... не надо.

Сергей садится к столу и пишет записку.

Я завожу разговор о только что подавленном в Москве восстании левых эсеров; о судьбе чернородого семнадцатилетнего мальчика, который, чтобы «спасти честь России», бросил бомбу в немецкое посольство; о смерти Мирбаха; о желании эсеров во что бы то ни стало затеять смертоносную катавасию с Германией.

Еще не все улеглось. Еще останавливают на окраинах автомобили и держат, согласно ленинскому приказу, «до тройной проверки»; еще опущены шлагбаумы на шоссе и вооруженные отряды рабочих жгут возле них по ночам костры.

Чтобы раздражить Сергея, я говорю про эсеров:

— А знаешь, мне искренно нравятся эти «скифы» с рыжими зонтиками и в продранных кало-

шах. Бомбы весьма романтически отягчают карманы их ватных обтрепанных салопов.

Ольга про эсеров неплохо сказала: «они похожи на нашего Гогу — будто тоже не кончили гимназию».

Сергей трется сухой переносицей о край письменного стола. Он вроде лохматого большого пса, о котором можно подумать, что состоит в дружбе даже с черными кошками.

— Тут, видишь ли, не романтика, а фарс. Впрочем, в политике это одно и то же.

Мягкими серыми хлопьями падает темнота на Театральную площадь.

— Ихний главнокомандующий — Муравьев — третьего дня сбежал в Симбирск и оттуда соизволил ни больше ни меньше как «объявить войну Германии». Глупо, а расстреливать надо.

Садик, скамейки, тоненькие деревца и редкие человеческие фигурки внизу завалены осенними сумерками. Будто несколько часов кряду падал теплый серый снег.

Я упираюсь в мечтательные глаза Сергея своими — тверезыми, равнодушными, прохладными, как зеленоватая, сентябрьская, подернутая ржавчиной вода.

Мне непереносимо хочется взбесить его, разозлить, вывести из себя.

— Эсеры, Муравьев, немцы, война, революция — все это чепуха...

Сергей таращит пушистые ресницы:

— А что же не чепуха?

— Моя любовь.

Внизу на Театральной редкие фонари раскуривают свои папироски.

— Предположим, что ваша социалистическая пролетарская революция кончается, а я любим...

Среди облаков вспыхивает толстая немецкая сигара.

— ...трагический конец!... а я?... я купаюсь в своем счастье, плаваю по брюхо, фыркаю в розовой водичке и пускаю пузырьки всеми местами.

Сергей вытаскивает из портфеля бумаги:

— Ну, брат, с тобой водиться — все равно что в крапиву с... садиться.

И подтягивается:

— Иди домой. Мне работать надо.

12

Большевики, как умеют, успокаивают двухмиллионное население Белокаменной.

В газетах даже появились новые отделы:

«Борьба с голодом».

«Прибытие продовольственных грузов в Москву».

На нынешний день два радостных сообщения.

Первое:

«Из Рязани отправлено в Москву 48 вагонов жмыхов».

Второе:

«Сегодня прибыло 52 пуда муки пшеничной и 1 пуд муки ржаной».

13

Ольга лежит на диване, уткнувшись носом в шелковую подушку.

Я плутаю в догадках:

«Что случилось?»

Наконец, чтобы рассеять катастрофически сгущающийся мрак, робко предлагаю:

— Хотите, я немножко почитаю вам вслух?

Молчание.

— У меня с собой «Сатирикон» Петрония.

После весьма внушительной паузы:

— Не желаю. Его герои — жалкие, ревнивые скоты.

Голос звучит как из чистилища:

— ...они не признают, чтобы у их возлюбленных кто-нибудь другой «за пазухой вытирал руки».

Ольга вытаскивает из подушки нос. С него слезла пудра. Крылья ноздрей порозовели и слегка припухли.

— Вообще, как вы смеете предлагать мне слушать Петрония! У него мальчишки «разыгрывают свои зады в кости».

— Ольга!..

— Что «Ольга»?

— Я только хочу сказать, что римляне называли Петрония «судьей изящного искусства».

— Вот как!

— Elegantiae...

— Так-так-так!

— ...arbiter.

— Баста! Все поняла: вы шокированы тем, что у меня болит живот!

— Живот?..

— Увертюры, которые разыгрываются в моем желудке, выводят вас из себя. Вам противно сидеть рядом со мной. Вы хотели, по всей вероятности, прочесть мне то место из «Сатирикона», где Петроний рекомендует «не стесняться, если кто-либо имеет надобность... потому, что никто из нас не родился запечатанным... что нет большей муки, чем удерживаться... что этого одного не может запретить сам Юпитер...». Так я вас поняла?

Я хватаюсь за голову.

— Имейте в виду, что вы ошиблись, — у меня запор!

Я потупляю глаза.

— Скажите, пожалуйста, вы в меня влюблены?

Краска заливает мои щеки. (Ужасная несправедливость: мужчины краснеют до шестидесяти лет, женщины — до шестнадцати.)

— Нежно влюблены? Возвышенно влюблены? В таком случае откройте шкаф и достаньте оттуда клизму. Вы слышите, о чем я вас прошу?

— Слышу.

— Двигайтесь же!

Я передвигаю себя, как тяжелый беккеровский рояль.

— Ищите в уголке на верхней полке!

Я обжигаю пальцы о холодное стекло кружки.

— Эта самая... с желтой кишкой и черным наконечником... налейте воду из графина... возьмите с туалетного столика вазелин... намажьте наконечник... повесьте на гвоздь... благодарю вас... а теперь можете уходить домой... до свидания.

14

Битый третий час бегаю по городу. Обливаясь потом и злостью, вспоминаю, что в XVI веке Москва была «немного поболее Лондона». Милая моя Пенза. Она никогда не была и, надеюсь, не будет «немного поболее Лондона». Мечтаю печальный остаток своих дней дожить в Пензе.

Наконец, когда уже не чувствую под собой ног, где-то у Дорогомиловской заставы достаю несколько белых и желтых роз.

Прекрасные цветы! Одни похожи на белых голубей с оторванными головками, на мыльный гребень волны Евксинского Понта, на сверкающего, как снег, сванетского барашка. Другие — на того кудрявого еврейского младенца, которого — впоследствии — неуживчивый и беспокойный характер довел до Голгофы.

Садовник завертывает розы в старую, измятую газету. Я кричу в ужасе:

— Безумец, что вы делаете? Разве вы не видите, в *ка-ку-ю* газету вы завертываете мои цветы!

Садовник испуганно кладет розы на скамейку.

Я продолжаю кричать:

— Да ведь это же «Речь»! Орган конституционно-демократической партии, члены которой объявлены вне закона. Любой бульварный побродяга может безнаказанно вонзить перочинный нож в горло конституционного демократа.

У меня дрожат колени. Я сын своих предков. В моих жилах течет чистая кровь тех самых славян, о трусливости которых так полно и охотно писали древние историки.

— Можно подумать, сумасшедший человек, что вы только сегодняшним вечером упали за Дорогомиловскую заставу с весьма отдаленной планеты. Неужели же вы не знаете, что ваши розы, белые, как перламутровое брюшко жемчужной раковины, и золотые, как цыплята, вылупившиеся из яйца, ваши чистые, ваши невинные, ваши девственные розы — это... это...

Я говорю шепотом:

— ...это...

Одними губами:

— ...уже...

Беззвучно:

— ...контрреволюция!

Ноги меня не держат; я опускаюсь на скамейку; я задыхаюсь; я всплескиваю руками и мотаю головой, как актриса Камерного театра в трагической сцене.

— Но розы, завернутые в газету «Речь»!!!

Положительно, страх сделал из меня Цицерона и конуру садовника превратил в Форум.

— Нет, тысячу раз клянусь непорочностью этих благоухающих девственниц, у меня на плечах только одна голова.

Я кладу руку на его грудь:

— Дорогой друг, если бы интересовались политикой, то вы бы знали, что коммунистическая фракция пятого Всероссийского съезда Советов Рабочих, Красноармейских и Казачьих депутатов единогласно высказалась за необходимость применения массового террора по отношению к буржуазии и ее прихвостням.

Он сочувственно качает головой.

— Но вы же не хотите мне зла и поэтому, умоляю вас, заверните розы в обыкновенную папиросную бумагу. Что?... У вас нет папиросной бумаги? Какое несчастье!

Мои ледяные пальцы сжимают виски.

Страшное дело любовь! Недаром же в каменном веке самец, вооруженный челюстью кита, шел на самца, вооруженного рогами барана.

О женщина!

Я расплачиваюсь с моим простодушным палачом пергаментными бумажками и, прижав к сердцу роковые цветы, выхожу на улицу.

15

Казань взята чехословаками; англичане обстреливают Архангельск; в Петербурге холера.

16

Мне больше не нужно спрашивать себя: «Люблю ли я Ольгу?»

Если мужчина сегодня для своей возлюбленной мажет вазелином черный клистирный наконечник, а назавтра замирает с охапкой роз у электрического звонка ее двери — ему незачем задавать себе глупых вопросов.

Любовь, которую не удушила резиновая кишка от клизмы, — бессмертна.

17

На будущей неделе по купону №2 рабочей продовольственной карточки начинают выдавать сухую воблу (полфунта на человека).

18

Сегодня ночью я плакал от любви.

19

В Вологде собрание коммунистов вынесло постановление о том, что «необходимо уничтожить класс буржуазии». Пролетариат должен обезвредить мир от паразитов, и чем скорее, тем лучше.

20

— Ольга, я прошу вашей руки.

— Это очень кстати, Владимир. Нынче утром я узнала, что в нашем доме не будет всю зиму дей-

ствовать центральное отопление. Если бы не ваше предложение, я бы непременно в декабре превратилась в ледяную сосульку. Вы представляете себе, спать одной в кроватище, на которой можно играть в хоккей?

— Итак...

— Я согласна.

21

Ее голова отрезана двухспальным шелковым одеялом. На хрустком снеге полотняной наволочки растекающиеся волосы производят впечатление крови. Голова Иоканаана на серебряном блюде была менее величественна.

Ольга почти не дышит. Усталость посыпала ее веки толченым графитом фаберовского карандаша.

Я горд и счастлив, как Иродиада. Эта голова поднесена мне. Я благодарю судьбу, станцевавшую для меня танец семи покрывал. Я готов целовать у этой величайшей из босоножек ее грязные пяточки за великолепное и единственное в своем роде подношение.

Сквозь кремовую штору продираются утренние лучи.

Проклятое солнце! Отвратительное солнце! Оно спугнет ее сон. Оно топает по комнате своими медными сапожищами, как ломовой извозчик.

Так и есть.

Ольга тяжело поднимает веки, посыпанные усталостью; потягивается; со вздохом поворачивает голову в мою сторону.

— Ужасно, ужасно, ужасно! Все время была уверена, что выхожу замуж по расчету, а получилось, что вышла по любви. Вы, дорогой мой, худы, как щепка, и в декабре совершенно не будете греть кровать.

22

Я и мои книги, вооруженные наркомпросовской охранной грамотой, переехали к Ольге.

Что касается мебели, то она не переехала. Домовой комитет, облегчая мне психологическую борьбу с «буржуазными предрассудками», запретил забрать с собой кровать, письменный стол и стулья.

С председателем домового комитета у меня был серьезный разговор.

Я сказал:

— Хорошо, не буду оспаривать: письменный стол — это предмет роскоши. В конце концов, «Критику чистого разума» можно написать и на подоконнике. Но кровать! Должен же я на чем-нибудь спать?

— Куда вы переезжаете?

— К жене.

— У нее есть кровать?

— Есть.

— Вот и спите с ней на одной кровати.

— Простите, товарищ, но у меня длинные ноги, я храплю, после чая потею. И вообще я предпочел бы спать на разных.

— Вы как женились — по любви или в комиссариате расписались?

— В комиссариате расписались.

— В таком случае, гражданин, по законам революции — значит обязаны спать на одной.

23

Каждую ночь тихонько, чтобы не разбудить Ольгу, выхожу из дому и часами брожу по городу. От счастья я потерял сон.

Москва черна и безлюдна, как пять веков тому назад, когда городские улицы на ночь замыкались решетками, запоры которых охранялись «решеточными сторожами».

Мне удобна эта темнота и пустынность, потому что я могу радоваться своему счастью, не боясь прослыть за идиота.

Если верить почтенному английскому дипломату, Иван Грозный пытался научить моих предков улыбаться. Для этого он приказывал во время прогулок или проездов «рубить головы тем, которые попадались ему навстречу, если их лица ему не нравились».

Но даже такие решительные меры не привели ни к чему. У нас остались мрачные характеры.

Если человек ходит с веселым лицом, на него показывают пальцами.

А любовь раскроила мою физиономию улыбкой от уха до уха.

Днем бы за мной бегали мальчишки.

Сквозь зубцы кремлевской стены мелкими светлыми капельками просачиваются звезды.

Я смотрю на воздвигнутый Годуновым Ивановский столп и невольно сравниваю с ним мое чувство.

Я готов ударить во всполошные колокола, чтобы каждая собака, проживающая в этом сумасшедшем городе, разлегшемся, подобно Риму и Византии, на семи холмах, знала о таком величайшем событии, как моя любовь.

И тут же задаю себе в сотый раз отвратительнейший вопросик:

«А в чем, собственно, дело? Почему именно твоя страстишка — Колокольня Ивана? Не слишком ли для нее торжественен ломбардо-византийский стиль?..»

Гнусный ответик имеет довольно точный смысл:

«Таков уж ты, человек. Тебе даже вонь, которую выпускаешь ты собственной персоной, не кажется мерзостью. А скорее — приятно щекочет обоняние».

24

Центральный Исполнительный Комитет принял постановление:

«Советскую республику превратить в военный лагерь».

25

По скрипучей дощатой эстраде расхаживает тонконогий оратор:

— Наш террор будет не личный, а массовый и классовый террор. Каждый буржуй должен быть зарегистрирован. Зарегистрированные должны распределяться на три группы. Активных и опасных мы истребим. Неактивных и неопасных, но ценных для буржуазии запрем под замок и за каждую голову наших вождей будем снимать десять их голов. Третью группу употребим на черные работы.

Ольга стоит от меня в четырех шагах. Я слышу, как бьется ее сердце от восторга.

26

Совет Народных Комиссаров решил поставить памятники:

Спартаку

Гракхам

Бруту

Бабефу

Марксу

Энгельсу

Бебелю

Лассалю

Жоресу

Лафаргу

Вальяну

Марату

Робеспьеру
Дантону
Гарибальди
Толстому
Достоевскому
Лермонтову
Пушкину
Гоголю
Радищеву
Белинскому
Огареву
Чернышевскому
Михайловскому
Добролюбову
Писареву
Глебу Успенскому
Салтыкову-Щедрину
Некрасову...

27

Граждане четвертой категории получают:
 $\frac{1}{10}$ фунта хлеба в день и один фунт картошки в неделю.

28

Ольга смотрит в мутное стекло.

— В самом деле, Владимир, с некоторого времени я резко и остро начинаю чувствовать аромат революции.

— Можно распахнуть окно?

Небо огромно, ветвисто, высокопарно.

— Я тоже, Ольга, чувствую ее аромат. И знаете, как раз с того дня, когда в нашем доме испортилась канализация.

Круторогий месяц болтается где-то в устремительнейшей высоте, как чепушное елочное украшение.

По улице провезли полковую кухню. Благодаря воинственному виду сопровождающих ее солдат, миролюбивая кастрюля приняла величественную осанку тяжелого орудия.

Мы почему-то с Ольгой всегда говорим на «вы».

«Вы» — словно ковш с водой, из которого льется холодная струйка на наши отношения.

— Прочтите-ка вести с фронта.

— Не хочется. У меня возвышенное настроение, а теперешние штабы не умеют преподносить баталии.

Я припоминаю старое сообщение:

«Потоцкий, роскошный обжора и пьяница, потерял битву».

Это о сражении с Богданом Хмельницким под Корсунем.

Ветер бегаёт босыми скользкими пятками по холодным осенним лужам, в которых отражается небо и плавают лошадиный кал.

Ольга решает:

— Завтра пойдем к вашему брату. Я хочу работать с советской властью.

Реввоенсоветом разрабатывается план подготовки боевых кадров из подростков от 15 до 17 лет.

Мы подходим к номеру Сергея. Дверь распахивается. Седоусый, прямоплечий старик с усталыми глазами застегивает шинель.

— Кто это?

— Генерал Брусилов.

К моему братцу приставлены в качестве репетиторов три полководца, украшенных, как и большинство русских военачальников, старостью и поражениями.

Если поражения становятся одной из боевых привычек генерала, они приносят такую же громкую славу, как писание плохих романов.

В подобных случаях говорят:

«Это его метод».

Сергей протягивает руку Ольге.

Он опять похож на большого дворового пса, которого научили подавать лапу.

Мы усаживаемся в креслах.

На письменном столе у Сергея лежат тяжелые тома «Суворовских кампаний». На столике у кровати жизнеописание Скобелева.

Я спрашиваю:

— Чем, собственно говоря, ты собираешься командовать — взводом или ротой?

— Фронтом.

— В таком случае тебе надо читать не Суворова, а записки барона Герберштейна, писанные в начале XVI столетия.

Сергей смотрит на Ольгу.

— Даже в гражданской войне генералиссимусу не мешает знать традиции родной армии.

Сергей продолжает смотреть на Ольгу.

— Стратегия Дмитрия Донского, великого князя Московского Василия, Андрея Курбского, петровеликских выскочек и екатерининских «орлов» отличалась изумительной простотой и величайшей мудростью. Намереваясь дать сражение, они прежде всего «полагались более на многочисленность сил, нежели на мужество воинов и на хорошее устройство войска».

Ольга достает папироску из золотого портсигара.

Сергей смешно хлопает себя «крыльями» по карманам в поисках спичек.

Я не в силах остановиться.

— Этот «закон победы» барон Герберштейн считал нужным довести до сведения своих сограждан и посланник английской королевы — до сведения Томаса Чарда.

Сергей наклоняется к Ольге:

— Чаю хотите?

И соблазняет:

— С сахаром.

Он роется в портфеле. Портфель до отказа набит бумагами, папками, газетами.

— Вот, кажется, и зря нахвастал.

Бумаги, папки и газеты высыпаются на пол. Сергей на лету ловит какой-то белый комок. В линованной бумаге лежит сахарный отколочек.

— Берите, пожалуйста.

Он дробит корешком Суворова обгрызок темного пайкового сахара.

— У меня к вам, Сергей Василич, небольшая просьба.

Ольга с легким, необычным для себя волнением рассказывает о своем желании «быть полезной мировой революции».

— Тэк-с...

Розовое пятно на щеке Сергея смущенно багровеет.

— Ну-с, вот я и говорю...

И, ничего не сказав, заулыбался.

— О чем вы хотели меня спросить, Сергей Васильевич?

Он почесал за ухом.

— Хотел спросить?..

Чай в стаканах жидкий, как декабрьская заря.

— Да...

Ложечка в стакане серая, алюминиевая.

— Вот, я и хотел спросить...

И почесал за вторым ухом:

— Делать-то вы что-нибудь умеете?

— Конечно, нет.

— Н-да...

И он деловито свел брови.

— В таком случае вас придется устроить на ответственную должность.

Сергей решительно снял телефонную трубку и, соединившись с Кремлем, стал разговаривать с народным комиссаром по просвещению.

31

Марфуша босыми ногами стоит на подоконнике и протирает мыльной мочалкой стекла. Ее голые, гладкие, розовые, теплые и тяжелые икры дрожат. Кажется, что эта женщина обладает двумя горячими сердцами и оба заключены здесь.

Ольга показывает глазами на босые ноги:

— Я бы на месте мужчин не желала ничего другого.

Теплая кожа на икрах пунцовеет.

Марфуша спрыгивает с подоконника и выходит из комнаты, будто для того, чтобы вылить воду из чана.

Ольга говорит:

— Вы бездарны, если никогда к ней не приставали.

32

Ольга формирует агитационные поезда.

Юноша с оттопыренными губами и ушами величественно протягивает мне руку и отрекомендовывает себя:

— Товарищ Мамашев.

Это ее личный секретарь.

Ветер крутит: дома, фонари, улицы, грязные серые солдатские одеяла на небе, ледяную мелкосыпчатую крупу (отбивающую сумасшедшую чечетку на панелях), бесконечную очередь (у железнодорожного виадука) получающих разрешение на выезд из столицы, черные клочья ворон, остервенелые всхлипы комиссарских автомобилей, свалившийся трамвай, телеграфные провода, хвосты тощих кобыл, товарища Мамашева, Ольгу и меня.

— Ну и погодка!

— Черт бы ее побрал.

Товарищ Мамашев топорщит губы:

— А что я говорил? Нужно было у Луначарского попросить его автомобиль...

И подпрыгивает козликом:

— ...он мне никогда не отказывает...

Вздергивает гордо бровь:

— ...замечательно относится...

Делает широкий жест:

— ...аккурат сегодня четыре мандата подписал... тринадцать резолюций под диктовку... одиннадцать отношений...

Хватает Ольгу под руку:

— ...ходатайство в Совнарком аккурат на ваши обеденные карточки, в Реввоенсовет на три пары теплых панталон для профессора Переверзева, в Президиум Высшего совета народного хозяйства на железную печку для вашей, Ольга Константи-

новна, квартиры, записочку к председателю Московского Совета, записочку... тьфу!

И выплевывает изо рта горсть льда.

Ветер несет нас, как три обрывка газеты.

34

В деревнях нет швейных катушек. Центротекстиль предложил отпустить нитки в хлебные районы при условии: пуд хлеба за катушку ниток.

35

Отдел металла ВСНХ закрывает ввиду недостатка топлива ряд крупнейших заводов (Коломенский, Сормовский и др.).

36

Окна занавешены сумерками — жалкими, измятыми и вылинялыми, как плохенькие ситцевые занавесочки от частых стирок.

Марфуша вносит кипящий самовар.

Четверть часа тому назад она взяла его с мраморного чайного столика и, прижимая к груди, унесла в кухню, чтобы поставить.

Может быть, он вскипел от ее объятий.

Сергей перебирает любительские фотографические карточки.

— Кто этот красивый юноша? Он похож на вас, Ольга Константиновна.

— Брат.

Самовар шипит.

— ...бежал на Дон.

— В Добровольческую?

— Да.

Я смотрю в глаза Сергея. Станут ли они злее?

Ольга опускает тяжелые суконные шторы цвета заходящего июльского солнца, когда заря обещает жаркий и ветреный день.

Конечно, его глаза остались такими же синими и добрыми. Он кажется мне загадочным, как темная, покрытая пылью и паутиной бутылка вина в сургучной феске.

Я не верю в любовь к «сорока тысячам братьев». Кто любит всех, тот не любит никого. Кто ко всем хорошо относится, тот ни к кому не относится *хорошо*.

Он внимательно разглядывает фотографию. В серебряном флюсе самовара отражается его лицо. Перекошенное и свирепое. А из голубоватого стекла в кружевной позолоченной раме вылезает нежная ребяческая улыбка с ямками на щеках.

Я говорю:

— Тебе надо почаще смотреться в самовар.

37

Всероссийский Совет Союзов высказался за временное закрытие текстильных фабрик.

38

Как-то я зашел к приятелю, когда тот еще валялся в постели. Из-под одеяла торчала его волосяная голая нога. Между пальцами, короткими и толстыми, как окурки сигар, лежала грязь плотными черными комочками.

Я выбежал в коридор. Меня стошнило.

А несколько дней спустя, одеваясь, я увидел в своих мохнатых, расплюснутых, когтистых пальцах точно такие же потные комочки грязи. Я нежно выковырял ее и поднес к носу.

С подобной же нежностью я выковыриваю сейчас свою любовь и с блаженством «подношу к носу».

А когда я гляжу на Сергея, меня всего выворачивает наружу. (Он вроде молодого купца из «Древлепечатного Пролога», который «уязвился ко вдовице... люте истаевал... ходил неистов, яко бы бесен».)

39

Совет Народных Комиссаров предложил Наркомпросу немедленно приступить к постановке памятников.

40

Из Курска сообщают, что заготовка конины для Москвы идет довольно успешно.

Щелкнув рубиновой кнопкой, Ольга вынимает из серой замшевой сумочки сухой темный ломтик.

Хлеб пахнет конюшной, плесенью Петропавловских подземелий и, от соседства с кружевным шелковым платком, — убигановским *Quelques Fleurs*'ом.

Я вынимаю такой же ломтик из бумажника, а товарищ Мамашев — из портфеля.

Девушка в белом переднике ставит на столик тарелки. У девушки усталые глаза и хорошее французское произношение:

— *Potage a la paysanne* [*суп по-крестьянски (фр)*].

Смешалище из жидкой смоленской глины и жирного пензенского чернозема наводит на размышления.

Ольга вытирает платочком тусклую ложку. Французское кружево коричневеет.

Кухонное оконце, как лошадь на морозе, выдыхает туманы.

Я завидую завсегдатаям маленьких веселых римских «попин» — Овидию, Горацию и Цицерону; в кабачке «Белого Барашка» вдовушка Бервен недурно кормила Расина; ресторанчик мамыши Сагюет, облюбованный Тьером, Беранже и Виктором Гюго, имел добрую репутацию; великий Гете не стал бы писать своего «Фауста» в лейпцигском погребеке, если бы старый Ауэрбах подавал ему никуда не годные сосиски.

Наконец (во время осады Парижа в семьдесят первом году), только высокое кулинарное искусство ресторатора Поля Бребена могло заставить Эрнеста Ренана и Теофиля Готье даже не заметить того, что они находятся в городе, который был «залит кровью, трепетал в лихорадке сражений и выл от голода».

Ольга пытается сделать несколько глотков супа.

— Владимир, вы захватили из дома соль?

Я вынимаю из кармана золотую табакерку времен Елизаветы Петровны.

— Спасибо.

С оттопыренных губ товарища Мамашева летят брызги восторженной слюны.

— Должен вам сказать, Ольга Константиновна, что здесь совершенно нет столика без знаменитости.

Восторженная слюна пенится на его розовых губах, как Атлантический океан.

— Изысканнейшее общество!

Он раскланивается, прижимая руку к сердцу и танцуя головой с кокетливой грацией коня, ходившего в пристяжке.

— Обратите, Ольга Константиновна, внимание — аккурат, Евтихий Владимирович Туберовов... европейское имя... шесть аншлагов в «Гранд-Опера»...

Товарищ Мамашев отвешивает поклон и прижимает руку к сердцу.

— ...аккурат вчера вывез по ордеру из особняка графини Елеоноры Леонардовны Перович буфет красного дерева рококо, волосяной матрац и люстру восемнадцатого века.

Кухонное оконце дышит туманами. Скрипят челюсти. Девушка с усталыми глазами вывернула тарелку с супом на колени знаменитого художника, с которым только что поздоровался товарищ Мамашев.

— Петр Аристархович Велеулов, аккуратно с утренним поездом привез из Тамбова четыре пуда муки, два мешка картошки, пять фунтов сливочного масла...

Ольга вытирает лицо кружевным платочком.

— Товарищ Мамашев, вы не человек, а пульверизатор. Всю меня оплевали.

— Простите, Ольга Константиновна!

Девушка с усталыми глазами подала нам корейку восемнадцатилетнего мерина.

Петр Аристархович вытаскивает из-за пазухи фунтовую коробку монпансье.

Товарищ Мамашев впивается в жестянку ястребиным взглядом. Он почти не дышит.

В коробке из-под монпансье оказывается сливочное масло. Мамашев торжествует.

42

Возвращаемся бульварами. Деревья шелестят злыми каркающими птицами.

Вороны висят на сучьях, словно живые черные листья.

Не помню уж, в какой летописи читал, что перед одним из страшнейших московских пожаров, «когда огонь полился рекою, камни распадались, железо рдело, как в горниле, медь текла и деревья обращались в уголь и трава в золу», — тоже раздирательно каркали вороны над посадом, Кремлем, заречьями и загородьем.

43

В Москве поставили одиннадцать памятников «великим людям и революционерам».

44

Рабочие национализированной типографии «Фиат Люкс» отказались работать в холоде. Тогда районный Совет разрешил разобрать на дрова большой соседний деревянный дом купца Скоровертова.

Ночью Марфуша притащила мешок сухих, гладко оструганных досок и голубых обрубков.

Преступление свое она оправдала пословицей, гласящей, что «в корчме, вишь, и в бане уси ровные дворяне».

У Марфуши довольно своеобразное представление о первой в мире социалистической республике.